

A person with a backpack is walking away on a forest path. The scene is illuminated by a bright, low sun, creating a strong orange and yellow glow that silhouettes the person and the trees. The path is wet and reflects the light. The overall mood is contemplative and atmospheric.

# Прометей сегодня

Максим Козлов

18+

Максим Козлов  
**Прометей сегодня**

«Автор»

2026

## **Козлов М.**

Прометей сегодня / М. Козлов — «Автор», 2026

Алексей Князев — вирусолог, нашедший лекарство от всех видов рака. Формула проста и дешева, но для синтеза нужен гипофиз конкретного человека — семилетнего сироты Дениса. Операция смертельна. Цена лекарства — жизнь ребенка. Цена молчания — восемь миллионов смертей в год. Алексей скрывает источник, публикует неполную формулу — и запускает цепь событий, которую уже не контролирует. Мир раскалывается надвое: утилитаристы требуют убить мальчика ради спасения человечества, деонтологи защищают его право на жизнь. За Денисом начинается охота. «Прометей сегодня» — это классическая дилемма вагонетки, перенесенная в реальность. Книга без ответов, где нет правых и виноватых — есть только выбор, цена которого измеряется миллионами жизней и одной детской душой. Это роман о человеке, который украл огонь у богов. И о том, что орел, клюющий печень, иногда гнездится внутри.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Чистый лист	5
Точка невозврата	11
Груз молчания	18
Координаты донора	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Максим Козлов

## Прометей сегодня

### Чистый лист

Лаборатория пахла спиртом и перегретым пластиком. Этот запах вьелся в стены, в шторы, в халат, который висел на спинке стула уже третью неделю без стирки. Алексей Семёнович сидел перед микроскопом, хотя не смотрел в окуляры уже минут сорок. Он просто сидел, положив руки на холодный металлический стол, и слушал, как гудит холодильник с образцами.

За окном шел дождь. Мелкий, противный, ноябрьский. Капли разбивались о подоконник, и этот звук напоминал ему тиканье часов. Он ненавидел тиканье часов. В его кабинете не было часов — только телефон, который он переворачивал экраном вниз.

На столе лежала распечатка. Двадцать четыре страницы. Таблица геномных последовательностей, которую он знал наизусть, но все равно перечитывал каждое утро, будто надеялся найти ошибку. Ошибки не было. Он проверил девять раз. Потом еще три. Потом отдал независимой лаборатории в Новосибирске под видом рутинного анализа. Результат вернулся тот же. — Черт, — сказал он вслух.

Слово повисло в воздухе. Никто не ответил. Лаборанты ушли час назад — он слышал, как Женька гремела ключами, а Костя что-то бубнил про пробки на Дмитровском. Он сказал им: «Идите, я закрою». Он всегда так говорил. За три года работы в этом крыле он закрывал лабораторию чаще, чем открывал утром — потому что утром приходил позже всех, а вечером оставался, когда коридоры уже пустели.

Он пододвинул распечатку ближе.

Стволовая клетка. Мезенхимальная линия. Дифференцировка *in vivo* показала полное подавление онкогенов без повреждения здоровых тканей. Пять линий рака — карцинома легкого, меланома, глиобластома, лимфома Ходжкина и рак поджелудочной. Все пять линий погибли в течение сорока восьми часов после введения сыворотки. Здоровые клетки не пострадали. Мыши жили. Четыре месяца наблюдений — ремиссия стабильная, побочных эффектов ноль.

Он знал, что это значит. Это значит — лекарство от рака. Не ремиссия на год-два. Не химия с тошнотой и выпадением волос. Полное излечение. Как антибиотик от пневмонии. Пришел, укололся, здоров.

Он снял очки и потер переносицу. Кожа была жирной, он не мыл лицо с утра.

Проблема была не в формуле. Формула была простой, как кухонный рецепт. Сыворотку можно было делать в любой аптеке с минимальным оборудованием. Центрифуга, инкубатор, несколько реактивов, которые продаются открыто. Стоимость дозы — рублей триста, если считать по себестоимости компонентов. Триста рублей против рака. Он усмехнулся. В его голове эта цифра звучала как название дешевого детектива.

Проблема была в том, с чего начинался синтез.

Исходный материал.

Он пододвинул вторую распечатку — ту, что прятал под первой. Одна страница. Результат NLA-типирования. Шесть цифр, которые складывались в комбинацию, встречающуюся у одного человека на миллиард. Может быть, реже. Статистической базы для точной оценки просто не существовало — никто никогда не типировал всю популяцию Земли.

Он нашел этого человека случайно. Проект «Национальная база доноров костного мозга» собирал образцы по детским домам — формально для помощи сиротам с онкологией, а фактически для пополнения регистра. Двадцать тысяч образцов, взятых за пять лет. Он подклю-

чился к базе через знакомого в Минздраве, когда понял, что его сыворотке нужен особый тип клеток. Не просто стволовые клетки — у него самого их полно, хоть из костного мозга бери, хоть из жировой ткани выделяй. Нужна была конкретная аллель гена HLA-G, которая отвечала за подавление иммунного ответа. Без нее сыворотка не работала — организм отторгал лекарство быстрее, чем оно убивало рак.

Он проверил двадцать тысяч образцов. Ни одного совпадения. Потом расширил поиск до европейских баз — сто семьдесят тысяч образцов. Ноль. Потом написал коллеге в Шанхай — у китайцев была база на два миллиона. Они искали полгода и прислали ответ: «В популяции хань такой комбинации нет. Теоретически она возможна, но частота — менее одной десяти-миллионной».

Он уже собирался бросить. Полгода работы — сыворотка лежала в холодильнике, мыши бегали в клетках, а он не мог перейти к фазе клинических испытаний, потому что исходного материала не существовало в природе.

И тут ему позвонил Андрей.

Андрей работал в детской больнице на юге Москвы. Он был хирургом, хорошим хирургом, и они дружили с университета. Раз в месяц встречались выпить пива, поговорить о бабах, о футболе, о том, как все катится к чертям.

— Слушай, — сказал Андрей в трубку. — У меня тут пациент. Мальчик, семь лет. Сирота. Попал в аварию — автобус перевернулся на МКАДе, шестеро погибших, он выжил. Перелом бедра, сотрясение, ничего критического. Но я взял анализы перед операцией, и у него в крови какая-то странная картина. Я тебе скину.

Алексей открыл файл, который пришел через минуту.

И замер.

Перед ним был HLA-профиль. Тот самый.

— Где он? — спросил Алексей. Голос у него сел, пришлось откашляться.

— В детском доме номер семь, это в Бутово. После больницы его туда вернут. А что? Ты чего такой взволнованный?

— Ничего. Потом расскажу.

Он повесил трубку и присидел без движения час. Или два. Он не помнил.

Теперь, спустя три месяца после того звонка, он знал о мальчике почти все, что можно знать, не встречаясь с ним лично. Звали его Денис. Семи лет. Родители погибли в автокатастрофе, когда ему было три — пьяный водитель вылетел на встречную. Бабушка умерла через год, других родственников не нашлось. В детском доме он жил четвертый год. Рисовал самолеты, боялся грозы, любил манную кашу и ненавидел вареный лук. У него был плюшевый медведь по имени Гоша — с оторванным ухом, которое воспитательница пришила синими нитками.

И в его голове, в основании мозга, прямо за переносицей, находился гипофиз. Маленькая железа размером с горошину, которая вырабатывала стволовые клетки с той самой комбинацией генов.

Чтобы извлечь эти клетки в нужном количестве для первой партии лекарства, гипофиз нужно было удалить полностью. Операция смертельна. Нельзя вырезать гипофиз и остаться в живых — это центр эндокринной системы, без него организм умирает в течение нескольких часов, даже на аппаратах жизнеобеспечения.

Алексей встал и подошел к окну. Дождь усилился, капли барабанили по жестяному отливу, создавая рваный, дерганый ритм. В стекле он видел свое отражение. Человек тридцати восьми лет, с залысынами, в мятом халате поверх свитера, с красными от недосыпа глазами. Он выглядел как человек, который не спал неделю. Он и не спал.

— И что теперь? — спросил он свое отражение.

Отражение молчало.

Он вернулся к столу и взял третью распечатку. Эту он не показывал никому. Даже Андрею. Даже матери, которая звонила каждый вечер и спрашивала, как дела на работе.

Это был расчет.

Восемь миллионов человек в год умирают от рака в мире. Не заболевают — именно умирают. Те, кому не помогла химия. Те, кому не успели сделать операцию. Те, у кого рак нашли слишком поздно. Дети, старики, женщины в самом расцвете, мужчины, которые строили дома и водили сыновей на рыбалку. Восемь миллионов. Цифра была такая большая, что мозг отказывался ее осознавать. Он пытался представить эти смерти — поле, заполненное крестами, как на старых фотографиях Первой мировой, но кресты уходили за горизонт и не кончались.

Его отец умер от рака легких восемь лет назад. Он курил с четырнадцати, не бросал даже когда диагноз уже поставили. «Чего уж теперь», — говорил он и выходил на балкон с сигаретой. Алексей помнил, как отец лежал на больничной койке, желтый, как старый пергамент, и дышал с хрипом, похожим на звук надорванных мехов. Он умер в четверг, в три часа дня. Алексей опоздал на двадцать минут — стоял в пробке на Третьем кольце.

Когда он вошел в палату, отец был еще теплый.

Эти двадцать минут снились ему до сих пор.

Теперь у него в руках было лекарство, которое могло бы спасти его отца. И не только его. Лекарство, которое могло бы спасти жену соседа по лестничной клетке, которая сейчас лежала в онкоцентре на Каширке с четвертой стадией и уже прощалась с детьми. Лекарство, которое могло бы спасти девочку из новостей, которую всем миром собирали деньги на лечение в Германии, а Германия развела руками — слишком поздно.

Для этого нужно было убить одного мальчика. Одного сироту, у которого нет родителей и никогда не было нормального дома. Мальчика, который даже не поймет, что с ним случилось — ему дадут наркоз, он заснет и не проснется.

Алексей поймал себя на мысли, что он уже думает о том, как это сделать. И от этого ему стало страшно.

Он не был убийцей. Он был ученым. Он давал клятву Гиппократу, хотя врачебной практикой занимался мало — больше исследовательская работа. Но слова «не навреди» были вбиты в него так же крепко, как таблица умножения. Он не мог причинить вред пациенту. Он даже мышей в лаборатории умерщвлял с чувством вины, хотя это были просто мыши, выведенные для экспериментов.

Но восемь миллионов в год.

Умножь на десять лет — восемьдесят миллионов.

Умножь на двадцать — сто шестьдесят.

Если бы он мог, он бы спросил у отца. Но отец лежал в могиле на Хованском кладбище и ничего не отвечал.

Он взял телефон и перевернул экраном вверх. Два пропущенных от матери. Один от Андрея. Три сообщения в рабочем чате — Женька спрашивала про реактивы на следующую неделю, Костя скидывал мем про кота. Обычная жизнь, в которой люди не думают о том, что где-то сидит вирусолог и решает, убить ребенка или нет.

Он открыл фотографию.

Денис, семь лет. Фото из личного дела, которое Алексей получил через волонтерскую базу данных. Мальчик с темными волосами, стриженными коротко, как всех в детдомах. Серые глаза смотрели прямо в камеру, без улыбки, но и без страха. Просто ребенок. Просто лицо. Просто один из миллионов.

Он закрыл фото и убрал телефон в стол.

Решение нужно было принимать сегодня. Он тянул уже три месяца. Три месяца он ходил на работу, пил кофе, отвечал на письма, делал вид, что исследования продолжаются. А сам каждую ночь лежал без сна и гонял по кругу одни и те же мысли.

Формула была готова к публикации. Он мог отправить статью в Nature хоть завтра — коллеги из Новосибирска подтвердили бы данные, репутация у него была безупречная, двадцать три публикации в рецензируемых журналах, индекс Хирша высокий, членство в трех международных ассоциациях. Никто бы не усомнился.

Кроме одного: в статье был бы пропущен источник исходного материала.

Он написал бы: «стволовые клетки, полученные от донора с уникальным HLA-профилем». Без имени. Без деталей. Коллеги спросят: кто донор? Как получить такие же клетки? Он пожмет плечами. Скажет: коммерческая тайна. Или: данные засекречены спонсорами. Или просто промолчит.

А дальше начнется самое страшное.

Кто-то повторит его эксперимент. И не сможет. Потому что без того самого гипофиза сыворотка не работает — вернее, работает, но через три месяца вызывает мутации. Он знал это, потому что проверил. Взял обычные стволовые клетки, из своей же крови, синтезировал аналог, испытал на мышах. Первые два месяца — полная ремиссия. На третий — опухоли возвращались, но уже другие, множественные, по всему организму. Мыши умирали в страшных муках.

Он тогда сидел в виварии и смотрел, как последняя мышь бьется в конвульсиях. И думал: «Вот что будет с людьми, если я опубликую формулу без ключа».

Он не мог этого допустить.

Но и убить мальчика он не мог.

Он встал и начал ходить по лаборатории. Десять шагов в одну сторону, поворот, десять шагов в другую. Между стеллажами с реактивами, мимо вытяжного шкафа, мимо холодильника с образцами, который все так же мерно гудел, отсчитывая время, которого у него не было.

Допустим, он ничего не публикует.

Что тогда?

Мальчик живет дальше. Вырастает в детском доме, идет в армию или в колледж, работает, стареет, умирает своей смертью. Никто не узнает, что его гипофиз мог спасти миллионы.

Алексей умирает, унося тайну в могилу.

Восемь миллионов человек в год продолжают умирать от рака.

Всё остается как было.

Но он-то знает. Он уже знает, что лекарство существует. Что оно лежит у него в холодильнике, в двадцати пробирках с сывороткой. И каждый раз, когда он услышит о чьей-то смерти от рака — о соседе, о коллеге, о ком-то из новостей, — он будет знать: я мог это остановить. Я не остановил.

Он снова подошел к окну. Дождь не прекращался. Машины на улице ползли с включенными фарами, оставляя на асфальте длинные желтые отражения.

«Прометей, — подумал он вдруг. — Прометей украл огонь у богов, чтобы отдать людям. И был за это прикован к скале. Орел клевал его печень каждый день, а печень отрастала заново».

Он усмехнулся криво, недобро.

Где-то он читал, что Прометей мог в любой момент освободиться. Ему нужно было просто назвать имя — имя женщины, которую полюбит Зевс и чей сын свергнет его. Прометей знал это имя. И молчал.

Ради чего?

Ради людей, которые получили огонь и забыли о нем через поколение.

Он сел обратно за стол и взял ручку. Дешевую, шариковую, с обгрызенным колпачком. Достал из ящика чистый лист бумаги — он всегда писал важные вещи от руки, это помогало думать.

Вверху листа написал: «Что я знаю наверняка».

Пункт первый: лекарство работает только с гипофизом Дениса. Других источников нет и не предвидится.

Пункт второй: если опубликовать формулу без источника, начнутся попытки синтеза с обычными клетками. Результат — мутации и смерти.

Пункт третий: если молчать — восемь миллионов в год. Пожизненно.

Пункт четвертый: если убить мальчика — лекарство появится. Первая партия — через полгода. Потом нужно будет найти нового донора, потому что гипофиза хватит на ограниченное количество доз. Но первый шаг запустит процесс, и дальше все будет проще.

Пункт пятый: мальчик — сирота. У него нет родителей. Его смерть никто не заметит, кроме воспитателей детдома, которые забудут через месяц.

Он остановился и перечитал пятый пункт.

Его передернуло от того, как это звучало.

Никто не заметит. Кроме воспитателей. Кроме других детей в группе. Кроме мальчика по имени Денис, который любит манную кашу и спит с плюшевым медведем.

Он вспомнил, как в детстве сам спал с игрушечной собакой. Собаку звали Дружок, у нее было одно ухо и два хвоста — мать пришила второй вместо оторванного по ошибке. Он спал с этой собакой до двенадцати лет, пока однажды не вернулся из школы и не обнаружил, что мать выбросила старые игрушки. Он не плакал. Но внутри что-то оборвалось.

Теперь он пытался представить Дениса.

Мальчик лежит в постели в общей спальне, прижимает к себе медведя Гошу. За окном шумят тополя, которые растут во дворе детдома. Пахнет хлоркой из коридора и чуть-чуть — супом из столовой. Денис не знает, что где-то в Москве сидит человек, который решает, жить ему или умереть. Он вообще мало что знает о мире за пределами детдома. Он знает, что воспитательницу зовут Татьяна Петровна. Что по телевизору показывают мультики в семь вечера. Что старшие мальчики отбирают конфеты, поэтому их надо прятать под матрас.

Алексей отодвинул лист. Ручка оставила чернильное пятно на указательном пальце.

Он не мог думать о мальчике. Он должен был думать о цифрах. Цифры были понятными, сухими, безопасными. Восемь миллионов в год. Если бы можно было просто нажать кнопку — он бы нажал. Если бы мальчик сам согласился — героическая смерть, памятник, вечная благодарность. Но мальчику семь. Он не может согласиться. Он не понимает, что такое смерть, — разве что из разговоров старших, которые пугают друг друга страшилками про кладбище.

Решение лежало на Алексее. И только на нем.

Он пододвинул телефон. На экране все еще висело сообщение от Андрея: «Ты в порядке? Выглядишь хреново в последнее время».

Он набрал ответ: «Нормально. Давай завтра пересечемся».

Потом стер.

Потом написал: «Помнишь мальчика из аварии? Которого оперировал? Мне нужна информация».

Палец завис над кнопкой «Отправить».

Если он отправит это сообщение — процесс запустится. Андрей спросит зачем. Он что-нибудь соврет. Потом будет другая ложь, и еще, и еще. Потом появятся люди — те, кто сможет сделать то, что нужно. Не он сам. Он не сможет. Но найдутся те, кто сможет. Всегда находятся.

Он стер и это сообщение.

Встал. Снял халат, повесил на спинку стула. Надел куртку — старую, с потертыми рукавами, которую не менял лет пять. Запахал распечатки в рюкзак. Закрыв лабораторию, спустился на лифте, вышел под дождь.

Дождь был холодный, за шиворот сразу потекло. Он не раскрыл зонт — забыл его в кабинете, а возвращаться не хотелось. Он пошел к метро пешком, обходя лужи, глядя под ноги.

В голове крутилась одна фраза. Он даже не мог вспомнить, откуда она. Может, из книги, которую читал в университете. А может, сам придумал и забыл.

«Ты можешь выбрать, кем быть. Ты не можешь выбрать, чего это будет тебе стоить».

Он купил в ларьке у метро пачку сигарет. Не курил три года, но сегодня был тот самый вечер, когда три года пошли к черту вместе со всем остальным. Первая затяжка обожгла горло, закружилась голова. Он стоял под козырьком, курил и смотрел на людей, которые текли в метро сплошным потоком. Тысячи людей. Десятки тысяч. Каждый десятый из них — статистика не врет — умрет от рака. Может быть, не в этом году. Может быть, через пять лет. Но умрет.

Если он ничего не сделает.

Он докурил, бросил бычок в урну и пошел в метро.

В вагоне было душно и тесно. Он вжался в угол у дверей и закрыл глаза. Поезд стучал колесами, и этот стук складывался в слова: «восемь-миллионов-в-год, восемь-миллионов-в-год».

Ему нужно было решить. Он знал, что решение уже принято, просто он еще не готов признаться в этом себе. Оно лежало где-то глубоко, под слоями морали, совести, страха, под всеми этими «не навреди» и «человеческая жизнь бесценна». Оно тихо ждало своего часа.

И когда он открыл глаза на своей станции, он уже знал ответ.

Он отправит статью завтра утром.

Без указания источника.

А дальше — будь что будет.

## Точка невозврата

Утро началось с головной боли. Алексей проснулся в шесть, хотя будильник стоял на восемь. В висках стучало, во рту было сухо, как после недельного запоя, хотя выпил он вчера всего две бутылки пива — сидел на кухне, смотрел в стену и пил прямо из горла, не чувствуя вкуса. Пиво кончилось, он пошел в душ, постоял под горячей водой минут двадцать, потом лег в постель и пролежал без сна до трех ночи, глядя в потолок.

Теперь потолок был другой — дневной свет из окна рисовал на нем полосы от жалюзи. Он смотрел на эти полосы и думал, что сегодня — день, когда все изменится. Не для мира. Мир пока ничего не знал. Для него самого.

Он встал, не застывая кровать — все равно вечером опять ложиться. Прошел на кухню босиком, по холодному линолеуму, который давно пора было заменить. Поставил чайник, насыпал в кружку растворимого кофе — три ложки с горкой, как привык в ординатуре, когда спать было некогда. Чайник зашумел, задрожал, защелкал пластиком. Алексей стоял у окна и смотрел во двор, где дворник в оранжевом жилете сгребал прошлогодние листья в черные мешки.

Листья были мокрые, тяжелые, грабли оставляли на асфальте темные полосы.

Он думал о статье. Текст лежал в рюкзаке, на флешке, которую он вчера положил в карман куртки. Двадцать четыре страницы, вычитанные до запятой, с таблицами, графиками, ссылками на литературу. Он перечитывал статью раз тридцать за последнюю неделю и каждый раз находил что-то новое — то неудачный оборот, то недостаточно точную формулировку. Теперь править было поздно.

Решение, которое он принял вчера, ночью казалось ему единственно верным, а утром вдруг стало рассыпаться на куски. Как будто вместе с рассветом вернулся здравый смысл, от которого вчера остались только ошметки. Он представил, как статью читают коллеги. Как они кивают на формулу, проверяют данные, а потом доходят до раздела «Материалы и методы». «Стволовые клетки, полученные от донора с уникальным HLA-профилем». И всё. Больше ничего. Ни имени, ни источника, ни способа получения. Даже ссылки на базу данных нет.

Любой грамотный рецензент задаст вопрос. Любой журнал потребует уточнений. Он не сможет молчать вечно.

Но пока — сможет.

Он сел за стол с кружкой кофе и открыл ноутбук. Старый «Тошиба», который он купил еще в аспирантуре и с тех пор не менял — клавиатура стерта до блеска, на экране трещина в левом углу, но работал. Пока работал.

Письмо главному редактору «Nature» он написал еще неделю назад. Сухое, вежливое, с положенными формулами: «Уважаемый доктор Смит, направляю Вам рукопись статьи для рассмотрения в разделе оригинальных исследований» Дальше шла аннотация, ключевые слова, информация об авторах. В графе «Авторы» он поставил только свою фамилию. Это было честно — никто больше не участвовал в разработке, никто не знал всей правды. Он и сам не хотел, чтобы кто-то знал.

Перед отправкой он еще раз открыл файл со статьей и пролистал до раздела «Результаты». Там была таблица — выживаемость мышей после введения сыворотки. Девяносто восемь процентов. У контрольной группы, получавшей плацебо, выживаемость была четыре процента. Разница настолько очевидная, что статистическая обработка была чистой формальностью — р-значение уходило в отрицательные степени, в ноль, в пустоту, где никакой случайности уже не оставалось.

Он прокрутил дальше. График подавления онкогенов. Фотографии клеточных культур под микроскопом — здоровые клетки целые, раковые разрушены, как будто в них взорвалась

маленькая бомба. Он помнил, как впервые увидел эту картину — стоял над микроскопом и не верил глазам, потом отошел, вернулся, снова посмотрел. Потом позвал Женьку, но в последний момент передумал и сказал: «Ничего, показалось».

Сейчас он смотрел на эти фотографии и не чувствовал радости. Только тяжесть где-то под диафрагмой, тупая, ноющая, какая бывает, когда ждешь плохих новостей.

Он прикрепил файл к письму.

Палец завис над кнопкой «Отправить».

— Давай, — сказал он вслух. Голос в пустой квартире прозвучал глухо.

Нажал.

Письмо ушло с тихим звуком, с которым уходят все электронные письма — как будто ничего и не произошло. Он откинулся на спинку стула и выдохнул. Внутри что-то оборвалось и одновременно встало на место, как сустав, который вправили после вывиха. Больно, но правильно.

Через полчаса он был в лаборатории. Женька уже сидела за своим столом, что-то пипетировала, напевая под нос дурацкую песню из рекламы. Костя возился с автоклавом — старый агрегат опять барахлил, из-под крышки шел пар.

— Алексей Семёныч, вы сегодня рано, — сказала Женька, не оборачиваясь. — Обычно вы к десяти приходите, а сейчас еще девяти нет.

— Не спалось.

— Это из-за погоды. Давление скачет. У меня бабушка всегда говорила — в ноябре все болезни обостряются, и бессонница тоже.

Она говорила еще что-то, но он уже не слушал. Прошел в свой кабинет, закрыл дверь, сел за стол. Включил компьютер — старенький монитор загудел, как шмель, попавший в банку. Пока система загружалась, он смотрел на стену напротив, где висел календарь за прошлый год с фотографией Байкала. Он не переворачивал его уже одиннадцать месяцев — лень было купить новый.

В дверь постучали.

— Войдите.

Костя просунул голову в щель. Он был молодой, двадцать пять лет, только после аспирантуры, с вечно взъерошенными волосами и энтузиазмом, который пока еще не выбили лабораторные будни.

— Алексей Семёныч, там автоклав совсем сдох. Я звонил в ремонт, они говорят — раньше четверга не приедут. А у нас образцы копят.

— Поставь пока в холодильник. До четверга доживут.

— Они уже третью неделю живут. Я боюсь, что контаминация пойдет.

— Разберемся.

Костя помялся у двери.

— Что-то еще?

— Да нет Просто вы какой-то странный последнее время. Может, случилось что? Может, помочь надо?

Алексей посмотрел на него. Хороший парень. Толковый. Глаза честные, открытые — такие были у него самого лет пятнадцать назад, пока жизнь не отшлифовала до состояния серого придорожного камня.

— Ничего не случилось. Работай.

Костя кивнул и исчез. Дверь закрылась мягко, почти беззвучно.

Алексей повернулся к компьютеру и открыл почту. Письмо ушло, подтверждение о доставке уже висело во входящих — автоматический ответ от сервера «Nature». Теперь оставалось только ждать. Рецензирование займет месяц-два. Потом правки, потом публикация — если примут. А примут обязательно. Такие статьи не отклоняют.

Он вдруг подумал: а что будет после публикации? Сыворотка не работает без гипофиза. Он напишет в статье «донор с уникальным профилем», но мир захочет конкретики. Фармкомпания, лаборатории, правительства — все захотят повторить результат. Они попытаются найти донора самостоятельно — и не найдут. Потому что вероятность — один на миллиард. Тогда они придут к нему. «Доктор Князев, где вы взяли исходный материал? Мы проверили все доступные базы, мы типировали сотни тысяч образцов. Такого профиля нет нигде. Объяснитесь».

И тогда начнется ад.

Он отогнал эту мысль, как отгоняют назойливую муху — резким движением головы. Рано. Слишком рано думать об этом. Сначала публикация, потом реакция, потом уже — решение проблемы. Может быть, за эти месяцы что-то изменится. Может быть, он найдет другой способ синтеза. Может быть, окажется, что мутации на мышцах — случайность, и с человеческими клетками все будет иначе. Может быть, мальчик умрет сам — от несчастного случая, от болезни, просто от того, что дети иногда умирают, и тогда проблема решится без его участия.

Он поймал себя на этой мысли и замер.

Он только что пожелал смерти семилетнему ребенку.

Нет, не пожелал. Просто допустил такую возможность. Это другое. Это научное мышление — рассматривать все варианты, даже самые неприятные.

Он закрыл лицо руками и посидел так минуту. Кожа на ладонях была сухая, с трещинками от частого мытья и спирта. От рук пахло лабораторией — всегда пахло, этот запах не вымывался даже горячей водой с мылом, он въедался в поры и оставался там навсегда.

В обед он вышел на улицу. Дождь кончился, но небо оставалось серым, низким, как ватное одеяло. Он купил в ларьке сосиску в тесте и дрянной кофе в бумажном стаканчике, сел на скамейку в сквере перед институтом. Рядом на газоне голуби дрались за хлебную корку, которую бросила старушка на соседней скамейке. Старушка была в платке и старом пальто с лисьим воротником — воротник облез, из-под него торчала желтая ткань. Она смотрела на голубей и улыбалась беззубым ртом.

Алексей пил кофе и думал о том, что было бы, если бы он не стал вирусологом. Пошел бы в хирурги, как Андрей. Или вообще уехал бы в деревню, разводил кроликов, забыл бы про науку, про рак, про стволовые клетки. Жил бы простой жизнью, где самое сложное решение — забить ли кролика на мясо сегодня или подождать до зимы.

Но он стал вирусологом. И решение уже принято.

Вечером он позвонил матери. Она жила в Подольске, в старой пятиэтажке, где они жили с отцом, пока отец не умер. Мать почти не выходила из дома — ноги болели, сердце шалило, да и незачем было выходить. Все, что ей было нужно, приносила соседка тетя Рая — хлеб, молоко, лекарства из аптеки.

— Алеша, ты чего не звонишь? Я волнуюсь, — голос у матери был слабый, дрожащий, но она бодрилась. Всегда бодрилась, даже когда отец умирал.

— Работа, мам. Много работы.

— Ты себя береги. Ты у меня один остался. Если с тобой что случится, я не переживу.

— Ничего со мной не случится.

Они помолчали. В трубке было слышно, как у матери тикают настенные часы — те самые, с кукушкой, которые отец привез из ГДР в восьмидесятом. Кукушка давно сломалась, но часы ходили.

— Ты что-то невеселый, — сказала мать. — Я по голосу слышу.

— Устал просто. Проект сложный.

— Ты бы бросил этот проект. Нашел бы что-то попроще. Зачем тебе эти сложности?

— Не могу, мам. Это важно.

— Что важного? Люди болеют, люди умирают — всегда так было. Ты всех не спасешь.

Он хотел сказать: «А я могу. Могу спасти. Почти всех». Но вместо этого сказал:

— Ты права. Ладно, мам, мне бежать. Завтра позвоню.

— Позвони. Обязательно позвони. И поешь горячего, не сиди на одних бутербродах.

— Хорошо.

Он положил трубку и остался сидеть в темноте. Свет он не включал — в окно падал уличный фонарь, и этого хватало, чтобы видеть очертания мебели. Комната казалась чужой, как будто он пришел в гости к кому-то незнакомому и ждал хозяина.

Через три дня позвонил Андрей.

— Ты чего трубку не берешь? Я тебе третий раз звоню.

— Занят был.

— Слушай, я по делу. Помнишь мальчика, Дениса? Ну, которого я оперировал после аварии?

У Алексея сжалось в груди.

— Помню. А что?

— Его выписывают на следующей неделе. Перелом сросся хорошо, сотрясение прошло без последствий. Я тут подумал — может, ты хочешь с ним встретиться?

— Зачем?

Андрей помолчал.

— Ты же тогда спрашивал про его анализы. Я не дурак, Леша. Я видел твоё лицо, когда ты их открыл. У тебя такое выражение было как будто ты привидение увидел.

— Не придумывай.

— Я и не придумываю. Я просто предлагаю. Если тебе нужно с ним поговорить или еще что-то — могу устроить. Я договорюсь с заведующей детдома, скажу, что нужно наблюдение после травмы. Никто ничего не заподозрит.

Алексей молчал. В трубке потрескивало.

— Леша, ты там?

— Я тут.

— Ну так что? Приедешь?

— Когда?

— В пятницу. Часа в три. Я как раз дежурю, могу тебя провести.

Алексей закрыл глаза. Он не хотел видеть этого мальчика. Не хотел смотреть в его серые глаза, которые он видел только на фотографии. Не хотел представлять, как этот мальчик дышит, смеется, ест манную кашу. Потому что тогда мальчик перестанет быть абстрактным «донором» и станет человеком. А убить человека сложнее, чем убить абстракцию.

— Хорошо, — сказал он. — Я приеду.

В пятницу он вышел из дома в восемь утра, хотя до больницы было час езды. Он не мог сидеть на месте. Он ходил по городу — сначала по бульварам, потом свернул на Тверскую, дошел до Кремля, постоял на Красной площади среди туристов, которые фотографировались на фоне собора. Он смотрел на них и думал: «Они не знают. Никто из них не знает. Мир вот-вот изменится, а они селфятся и покупают магнитики».

Странное чувство — знать то, чего не знает больше никто на планете.

В час он сел в метро и поехал на юг. Больница была старая, советской постройки, с облупленным фасадом и пандусом, который явно пристроили недавно — бетон был светлее, чем стены. Он прошел через проходную, показал пропуск, который ему выписал Андрей, и поднялся на третий этаж.

Андрей ждал его у ординаторской.

— Привет, — он хлопнул Алексея по плечу. — Выглядишь получше, чем в прошлый раз. Но все равно на бомжа похож. Ты когда в последний раз спал?

— Сегодня.

— Врешь. Ладно, пойдем. Мальчика сейчас приведут.

Они прошли в пустую палату — койки были застелены, тумбочки пусты. Андрей сказал, что палата для осмотров, сюда водят детей из детдома на плановые проверки.

— Ты только не пугай его, — сказал Андрей. — Он вообще-то спокойный парень, но после аварии немного замкнутый. С врачами общается нормально, а с незнакомыми стесняется.

— Я не буду пугать.

За дверью послышались шаги и детский голос:

— А зачем меня опять к доктору? Я же уже здоров.

— Проверить надо, — ответил женский голос, видимо воспитательница. — Это ненадолго.

Дверь открылась.

Алексей увидел его. Мальчик был маленький — меньше, чем он ожидал. Тощий, в мешковатой курточке, из которой явно вырос. Темные волосы, стриженные под машинку. На щеке — бледный шрам, оставшийся после аварии. Глаза серые, спокойные, смотрели настороженно, но без страха.

— Здравствуй, Денис, — сказал Андрей. — Это мой коллега, доктор Князев. Он посмотрит твои анализы.

— Здравствуйте, — сказал мальчик тихо.

У Алексея пересохло в горле.

— Здравствуй.

Мальчик сел на стул, который ему указал Андрей. Воспитательница осталась в коридоре — Андрей сказал, что осмотр займет пятнадцать минут. Денис сидел смирно, сложив руки на коленях. Алексей заметил, что ногти у него обгрызены — как у него самого в детстве.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Алексей. Вопрос был глупый, дежурный, но ничего другого он не придумал.

— Хорошо. Нога уже не болит. Только когда дождь — немножко ноет.

— Это нормально. Переломы всегда реагируют на погоду.

Мальчик кивнул. Помолчали.

— У тебя там, — Денис показал пальцем на карман халата, — ручка течет.

Алексей опустил взгляд. Из нагрудного кармана действительно расплывалось синее пятно — шариковая ручка потекла, как всегда бывает с дешевыми ручками. Он вытащил ее, завернул в салфетку.

— Вот черт.

Мальчик улыбнулся — в первый раз. Улыбка была робкая, неуверенная, как будто он не привык улыбаться чужим людям.

— У нашего учителя по рисованию тоже все время ручки текут. Он говорит — это потому что руки кривые.

— Наверное, и у меня кривые.

Андрей кашлянул и вышел, сказав, что ему нужно к другому пациенту. Алексей остался с мальчиком вдвоем. Он не знал, о чем говорить. Он вообще не умел говорить с детьми. У него не было детей — не сложилось. Жена ушла пять лет назад, как раз из-за этого: он все время пропадал в лаборатории, а она хотела семью, детей, дачу на выходные. Он не винил ее. Она была права.

— А вы кто по специальности? — спросил Денис.

— Вирусолог. Изучаю вирусы.

— Это чтобы вакцины делать?

— В том числе.

— Я знаю. Я «Ералаш» смотрел, там мальчик говорил — у меня дедушка вирусолог, он вирусы вынюхивает. Смешное слово — вынюхивает. Как собака.

— Примерно так и есть.

Мальчик снова улыбнулся, но тут же посерьезнел.

— А у меня бабушки нет. И бабушки нет. Только родители были, и они умерли.

Алексей не знал, что ответить. Взрослые в таких случаях говорят «мне очень жаль» или «они сейчас на небесах». Но это было бы враньем. Ему не было жаль — он не знал родителей этого мальчика. И про небеса он ничего не знал.

— Это тяжело, — сказал он наконец.

— Да, — Денис кивнул. — Сначала было очень тяжело. А теперь ничего. Привык.

Семилетний ребенок говорил о смерти родителей с интонацией человека, который привык к потерям. Это было страшнее всего.

Алексей вдруг представил, как этот мальчик лежит на операционном столе. В операционной холодно — всегда холодно, даже летом. Лампы светят ярко, так ярко, что закрытые веки не спасают. Анестезиолог вводит наркоз, мальчик считает до десяти и засыпает. И больше не просыпается.

Он тряхнул головой, отгоняя картинку.

— А у вас дети есть? — спросил Денис.

— Нет.

— Жалко. Вы добрый.

Алексей не нашелся что сказать. Посидели еще минуту. Потом Андрей вернулся и сказал, что осмотр окончен. Денис слез со стула и пошел к двери. На пороге обернулся.

— Доктор Князев, а вы еще придете?

— Не знаю. Может быть.

— Приходите. С вами интересно. Вы не задаете глупых вопросов, как другие доктора.

И ушел.

Алексей остался сидеть в пустой палате. В окно било серое ноябрьское солнце. Он думал о том, что мальчик сказал: «Вы добрый». Если бы он знал. Если бы он только знал, о чем думает этот добрый доктор, пока смотрит в его серые глаза.

Вечером он вернулся в лабораторию. Женька и Костя уже ушли. Он открыл холодильник с образцами и долго смотрел на пробирки с сывороткой. Их было двадцать штук, пронумерованных и датированных. Двадцать доз лекарства, которого хватило бы на клинические испытания первой фазы. Лекарства, которое уже спасло бы двадцать жизней, если бы он мог его применить.

Но он не мог. Потому что для каждой партии нужен новый материал. А материал — это гипофиз мальчика по имени Денис, который любит манную кашу и говорит «приходите еще».

Он закрыл холодильник и сел за стол. Включил компьютер, открыл файл со статьей. Нашел раздел «Материалы и методы» и долго смотрел на строчку про донора. Потом выделил ее курсором.

И стер.

Он не будет публиковать формулу. Не сейчас. Может быть, никогда.

Он найдет другой способ. Синтезирует аналог. Проверит каждую аллель в геноме. Переберет все возможные комбинации. На это уйдут годы. Десятилетия. Может быть, вся жизнь. Но он не убьет этого мальчика.

И восемь миллионов в год будут умирать.

Он сидел и смотрел в экран, где мигал курсор на пустом месте. За окном стемнело. В лаборатории было тихо, только холодильник гудел, отсчитывая время. И Алексей Князев, вирусолог, тридцати восьми лет, человек, который нашел лекарство от рака, заплакал — впервые за восемь лет, с тех пор как умер отец.

Он плакал тихо, беззвучно, закрыв лицо руками. Слезы текли сквозь пальцы, капали на клавиатуру, на стол, на распечатку статьи, где в графе «Материалы и методы» теперь зияла пустота.

Где-то далеко, в детском доме на юге Москвы, мальчик по имени Денис ложился спать. Он обнимал плюшевого медведя Гошу и думал о странном докторе, у которого в кармане потекла ручка. Он не знал, что этот доктор только что принял решение, которое убьет восемь миллионов человек в ближайший год. И еще восемь — в следующий. И еще.

Но он, Денис, будет жить.

## Груз молчания

Прошло полгода. Зима в том году выдалась снежная, сугробы лежали выше колена, и город задыхался в пробках. Алексей запомнил эту зиму как череду серых дней, слившихся в один бесконечный вторник. Он просыпался, шел на работу, возвращался домой, ложился спать. Между этими точками была пустота, заполненная рутинной — анализ данных, проверка образцов, ответы на письма, которые не имели значения. Статья так и осталась неотправленной. Он не стер ее — просто спрятал в папку с ничего не говорящим названием «Черновики\_2019» и не открывал.

В лаборатории все шло своим чередом. Женька защитила кандидатскую и теперь ходила счастливая, с новым кольцом на пальце — ее парень сделал предложение аккуратно перед Новым годом. Костя уволился в феврале, ушел в частную компанию, где платили втрое больше. На его место взяли новую девочку, Марину, прямо с университетской скамьи, восторженную и старательную. Она смотрела на Алексея с обожанием, потому что читала его старые статьи в «Вирусологии» и считала его светилом. Он не разубеждал.

Светило. Светило, которое погасло полгода назад и теперь только делало вид, что горит.

Он перестал бриться через день. Сначала это было «забыл», потом «лень», а к марту он уже носил бороду — неровную, с проседью, которая старила его лет на десять. Мать, увидев его по видеосвязи, всплеснула руками: «Ты на бомжа похож!» Он отшутился: «Мода такая, мам. Все вирусологи сейчас с бородами». Она не поверила, но спорить не стала — в их семье вообще не любили спорить, все конфликты решались молчанием.

О Денисе он не забывал ни на день. Мальчик жил где-то на периферии сознания, как заноза, которую не вытащить — вроде и не болит, а нажмешь неловко, и стреляет остро, до слез. Алексей ловил себя на том, что смотрит на детей в метро — примерно того же возраста, в таких же дешевых курточках. Вглядывался в лица, выискивая знакомые серые глаза. Ни разу не нашел.

Он не звонил Андрею. Андрей звонил сам — раз в месяц, не реже, с неизменным «как дела, старик?». Алексей отвечал «нормально», и они говорили о футболе, о ценах на бензин, о том, что опять снегопад и коммунальщики не справляются. Ни слова о мальчике. Ни слова о том вечере, когда Алексей вышел из больницы с таким лицом, что Андрей, провожая его до метро, дважды спросил: «Точно все в порядке?».

В порядке. Конечно, в порядке. Просто человек, который держал в руках лекарство от рака, решил его не публиковать. Просто восемь миллионов человек в год. Просто мальчик спит с плюшевым медведем и не знает, что его гипофиз — самая дорогая железа на планете.

В начале апреля все изменилось.

Алексей сидел на утренней планерке, которую проводил заведующий лабораторией профессор Григорьев — старый, грузный, с одышкой и привычкой повторять одно и то же дважды. Планерки были скучные, Алексей обычно отключался и думал о своем, но в этот раз зав вдруг сказал то, от чего у Алексея холод прошел по спине.

— Коллеги, на следующей неделе к нам приезжает делегация из Стокгольма. Вы, наверное, слышали — лаборатория Бергстрёма. Они занимаются стволовыми клетками, онкология. Очень серьезные ребята, публикации в Nature, Science. Хотят посмотреть наше оборудование, поговорить о сотрудничестве.

Алексей замер.

Бергстрём. Эрик Бергстрём — швед, специалист по генной терапии рака. Они встречались на конференции в Женеве три года назад. Бергстрём тогда выступал с докладом о персонализированной онковакцине, Алексей задавал вопросы, потом они пили пиво в баре и спорили до ночи о роли HLA-антигенов в подавлении иммунного ответа. Бергстрём был умен,

чертовски умен, и у него была та редкая интуиция, которая отличает настоящего ученого от просто хорошего специалиста — он чувствовал, где зарыта собака, даже когда собаки еще не было видно.

Если Бергстрём придет сюда и начнет задавать вопросы — он учует. Он увидит данные, которые Алексей не успел спрятать. Он заметит пробелы в отчетах. Он спросит: «А чем вы тут на самом деле занимаетесь, коллега Князев?».

— Алексей Семеныч, — голос Григорьева вырвал его из оцепенения, — вы как раз занимались стволовыми клетками. Подготовьте короткую презентацию? Минут на двадцать. Что-нибудь общее, без деталей.

— Да, конечно, — ответил он автоматически.

Планерка закончилась. Он вышел в коридор и прислонился к стене. Сердце колотилось где-то в горле. Он не был готов к этому разговору. Он вообще не был готов ни к чему — полгода он просто плыл по течению, как дохлая рыба, и теперь течение принесло его к водопаду.

В лаборатории он сел за компьютер и открыл папку «Черновики\_2019». Статья была на месте. Он пролистнул ее — раздел с методологией по-прежнему зиял дырой. Он так и не придумал, чем заполнить пустоту. Честно говоря, он и не пытался.

Марина заглянула в кабинет.

— Алексей Семеныч, вам кофе сделать?

— Сделай.

Она ушла, цокая каблучками — зачем она носила каблучки в лабораторию, где все ходили в бахилах, было загадкой. Алексей откинулся в кресле и закрыл глаза.

Нужно было решать. Бергстрём придет через пять дней. За эти пять дней нужно либо уничтожить все следы, либо придумать убедительную легенду. Уничтожить следы было несложно — пробирки с сывороткой все еще лежали в холодильнике, он мог их автоклавирировать за полчаса. Данные на компьютере — удалить и затереть диск. Но что делать с мышами? Часть мышей все еще жила в виварии, и эти мыши были здоровы — хотя должны были умереть от рака полгода назад. Любой, кто заглянет в клетки, увидит несоответствие протоколу. А Бергстрём обязательно заглянет — он был дотошный, он всегда заглядывал.

Оставалась легенда.

Он мог сказать, что эксперимент остановлен из-за проблем с исходным материалом. Что донор оказался недоступен. Что ведутся поиски альтернативы. Это было близко к правде, но Бергстрём спросит: «А что за донор? Покажите данные». И тогда Алексей либо соврет, либо скажет правду. Врать он не умел — краснел, отводил глаза, начинал запинаться. Правду он сказать не мог.

Он вдруг подумал: а что, если Бергстрём поймет? Что, если он посмотрит на данные, сложит два и два, и скажет: «Князев, вы должны опубликовать это. Вы обязаны». И тогда решение будет принято не им. Тогда ответственность ляжет на Бергстрёма, на Григорьева, на все научное сообщество. Он будет просто инструментом. Просто человеком, который открыл дверь.

Искушение было почти невыносимым.

Марина принесла кофе — растворимый, с тремя ложками сахара, как он любил. Он выпил залпом, обжигая горло, и поставил кружку на стол.

— Марина, позови Женю. И закрой дверь, пожалуйста.

Через минуту Женька сидела напротив. Она стала старше за полгода — или это кольцо на пальце делало ее взрослее. Смотрела вопросительно, чуть настороженно.

— Жень, ты помнишь проект со стволовыми клетками? Тот, что я вел прошлой осенью?

— Ну, мышей которые не умерли? Конечно, помню. А что? Вы же его закрыли вроде.

— Не совсем. Данные остались. Образцы остались. И мыши — в виварии.

Женька нахмурилась.

— Я думала, вы их утилизировали.

— Нет.

— Но по протоколу мыши, пережившие эксперимент, должны быть

— Знаю. Я нарушил протокол.

Она помолчала. Потом сказала тихо:

— Алексей Семеныч, я не буду спрашивать почему. Но если вы хотите, чтобы я помогла все убрать — я помогу. Только скажите.

Он посмотрел на нее. Хорошая она все-таки, Женька. Толковая. И преданная, как оказалось. Он не заслужил такой преданности.

— Нет. Я не буду убирать. Я хочу, чтобы ты подготовила данные к презентации. Все графики, все таблицы. Кроме раздела с источником клеток — его пока пропусти.

— Вы хотите показать это шведам?

— Хочу.

— Но вы же понимаете, что они спросят

— Спросят. А я отвечу — или не отвечу. Это мое дело.

Она кивнула и вышла. Алексей остался один.

Он достал из ящика стола чистый лист бумаги. Старая привычка — писать от руки, когда нужно разобраться в мыслях. Ручка, как всегда, потекла, оставив на пальцах синее пятно. Он вывел вверх листа: «Что будет, если я расскажу Бергстрёму?».

Вариант первый: Бергстрём ужасается и отказывается участвовать. Но не выдает его — врачебная этика, конфиденциальность и прочее. Тогда все остается как есть. Восемь миллионов в год.

Вариант второй: Бергстрём воодушевляется и подключает свои ресурсы. Вместе они публикуют статью, но источник не указывают. Дальше — кто-то пытается повторить, не может, всплывают мутации. Скандал, отзыв статьи, конец карьеры. Или — кто-то находит донора. Не Дениса, другого. И тогда лекарство появляется, но ценой убийства неизвестного человека.

Вариант третий: Бергстрём настаивает на полном раскрытии. Алексей показывает данные о мальчике. Бергстрём — европеец, человек западной этики — в ужасе. Но он ученый. Он понимает цену вопроса. Возможно, он предложит «этичное решение» — например, подождать, пока донор вырастет и даст согласие. Но это пятнадцать лет минимум. Сто двадцать миллионов смертей за это время.

Вариант четвертый: Бергстрём не ужасается. Бергстрём говорит: «Князев, вы должны это сделать. Не вы лично — найдутся люди. Вы должны просто не мешать».

Алексей перечитал четвертый пункт и почувствовал тошноту.

Он знал, что такие люди есть. Он слышал разговоры — на конференциях, в кулуарах, тихие разговоры за закрытыми дверями. «Если бы нашелся донор Если бы кто-то взял на себя Этика этикой, но восемь миллионов в год — это тоже этика». Он всегда пропускал эти разговоры мимо ушей. Теперь они звучали иначе.

Он свернул лист и убрал в стол.

Пять дней пролетели быстро. Алексей почти не спал. Он готовил презентацию — честную, подробную, со всеми данными, которые у него были. Женька помогала, не задавая вопросов. Она чувала, что происходит что-то серьезное, но молчала. Молчание было их общим языком.

В среду утром делегация приехала. Их было трое — сам Бергстрём, высоченный швед с седыми висками и молодым лицом; его ассистентка Карин, рыжая и веснушчатая; и представитель шведского Минздрава, лысый господин по фамилии Линдквист, который, как выяснилось позже, был не просто чиновником, а бывшим онкологом с двадцатилетним стажем.

Их встретил Григорьев, повел по лаборатории, показывал оборудование — автоклавы, инкубаторы, центрифуги. Бергстрём вежливо кивал, задавал дежурные вопросы. Карин что-

то записывала в блокнот. Линдквист молчал и смотрел по сторонам с выражением человека, который видел сотню таких лабораторий и ничем его не удивишь.

В час дня настала очередь презентации. Алексей ждал их в конференц-зале — небольшой комнате с пластиковыми стульями, экраном и маркерной доской, на которой кто-то забыл стереть формулы с прошлого семинара. Он стоял у окна, когда дверь открылась.

— Доктор Князев! — Бергстрём просиял. — Рад видеть вас снова. Женева, помните?

— Помню. Добрый день, коллеги.

Они расселись. Алексей включил проектор, открыл первый слайд — название проекта, его фамилия, дата. Руки у него были сухие и холодные, как всегда перед выступлением. Он начал говорить — спокойно, размеренно, как учили в аспирантуре.

Первые десять минут были рутиной. Введение, обзор литературы, цель исследования. Бергстрём слушал, чуть склонив голову набок — поза внимательного слушателя. Карин строčila в блокноте.

Потом пошли результаты.

Когда на экране появилась таблица выживаемости мышей, в зале что-то изменилось. Бергстрём перестал кивать. Он подался вперед, упершись локтями в стол. Карин замерла с ручкой в воздухе. Даже Линдквист, который до этого, кажется, дремал, открыл глаза и уставился на экран.

— Простите, — перебил Бергстрём, — вы утверждаете, что выживаемость в опытной группе составила девяносто восемь процентов? При меланоме четвертой стадии?

— Девяносто семь и восемь десятых, — уточнил Алексей. — Согласно протоколу.

— Это невозможно.

— И тем не менее.

Бергстрём встал и подошел к экрану, едва не касаясь его носом, как будто хотел прочитать данные с изнанки.

— Какая сыворотка? Какой механизм?

Алексей переключил слайд. Там была схема — грубая, сделанная наспех, но понятная. Стволовая клетка с модифицированным HLA-G, взаимодействие с Т-лимфоцитами, избирательный апоптоз раковых клеток.

— HLA-G? — Бергстрём повернулся к нему. — Но это же это нестабильный локус. У вас что, донор с полной толерантностью?

Алексей молчал.

— Доктор Князев, я спрашиваю: у вас есть донор с полной толерантностью HLA-G?

В комнате стало тихо. Жужжал проектор. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Алексей смотрел на шведа и чувствовал, как внутри все сжимается в точку — маленькую, горячую, как уголь, упавший на голую кожу.

— Да, — сказал он. — Есть.

— Вы его нашли? Где? Кто он? — Бергстрём почти кричал, забыв о вежливости, забыв о дипломатии, забыв обо всем, кроме науки.

Алексей выключил проектор. Экран погас.

— Я не могу вам этого сказать, — произнес он медленно. — Пока не могу.

Бергстрём уставился на него. Потом перевел взгляд на Линдквиста. Линдквист чуть заметно кивнул — едва уловимый жест, который Алексей все равно заметил.

— Хорошо, — сказал Бергстрём после паузы. — Я понимаю. Этические соображения. Но, доктор Князев, вы должны понимать, что мы не можем просто уйти и забыть то, что увидели.

— Понимаю.

— Мы хотели бы обсудить это в более приватной обстановке. Сегодня вечером, если возможно.

— Возможно.

Они вышли. Алексей остался в зале один. Он стоял у выключенного экрана и смотрел в окно, где начинался дождь — первый весенний дождь, робкий, мелкий, почти невидимый. Стекла запотевали.

Он знал, что только что перешел черту. Не ту главную черту — до убийства было еще далеко. Но он впустил других в свою тайну. Теперь она не принадлежала только ему.

Вечером они встретились в гостиничном номере Бергстрёма. Швед снял люк в «Метрополе» — огромная комната с лепниной, тяжелыми шторами и видом на Театральный проезд. Кроме Бергстрёма и Линдквиста, никого не было — Карин оставили в баре, Линдквист сказал ей что-то по-шведски, и она ушла, не задавая вопросов.

Они сидели в креслах у журнального столика. Бергстрём разлил виски — привез с собой, шведский, дорогой. Алексей отпил глоток. Виски обожгло горло, но не согрело.

— Доктор Князев, — начал Бергстрём. — Я буду прям. То, что вы показали сегодня — самое значительное открытие в онкологии за последние полвека. Возможно, за всю историю. Вы это знаете?

— Знаю.

— Но вы не публикуете. Вы не продолжаете исследования. Вы сидите на этом уже сколько? Полгода?

— Около того.

— Почему?

Алексей поставил стакан на столик. Потер лицо руками. Он устал. Он чертовски устал за эти полгода — устал молчать, устал притворяться, устал просыпаться каждое утро и помнить, что он знает.

— Потому что донор — ребенок, — сказал он. — Мальчик. Семь лет. Сирота.

В комнате повисла тишина. Такая глубокая, что было слышно, как на улице шуршат шины по мокрому асфальту.

— Я понял, — сказал Бергстрём медленно. — Вы не можете использовать его клетки, потому что

— Потому что чтобы их получить, его нужно убить. Гипофиз. Нужен целый гипофиз. Операция несовместима с жизнью.

Бергстрём откинулся в кресле. Его лицо, только что горевшее возбуждением, погасло, как экран проектора. Линдквист сидел неподвижно, сложив руки на коленях, как на похоронах.

— Вы уверены насчет несовместимости? — спросил Линдквист тихо.

— Абсолютно. Я консультировался с нейрохирургами.

— А другие источники клеток? Трансплантация, например? Или клонирование ткани?

— Пробовал. Не работает. Нужен именно гипофиз, именно этого донора. Клетки должны быть плюрипотентные, способные к полной дифференцировке. Клонирование дает генетическую копию, но без эпигенетических маркеров, которые формируются только *in vivo*.

Бергстрём потер переносицу.

— Вы говорили с кем-то еще?

— Нет. Только вы. И мой друг, хирург, который оперировал мальчика после аварии. Но он не знает всей картины. Он знает только, что анализы необычные.

— Хорошо. — Бергстрём встал и подошел к окну. Он стоял спиной к Алексею, глядя на огни вечерней Москвы. — Хорошо, что вы никому не сказали. Потому что если эта информация выйдет наружу, начнется такое

— Знаю.

— Нет, не знаете. — Бергстрём повернулся. — Доктор Князев, я работал в комиссии ВОЗ по биоэтике. Я видел, как принимаются решения в чрезвычайных ситуациях. Вы думаете, что моральная дилемма — это ваша личная трагедия? Это не личное. Это политическое.

Если станет известно, что лекарство от рака существует, но требует убийства одного ребенка, мир разделится. Начнутся дебаты, голосования, петиции. Появятся «ястребы», которые скажут: давайте убьем, и дело с концом. Появятся «голуби», которые скажут: нельзя, это нарушение всех этических норм. И пока они будут спорить, люди будут умирать. Восемь миллионов в год, вы сказали?

— Восемь миллионов.

— Значит, за время нашего разговора умерло примерно триста человек. Пока мы пьем виски, триста человек. — Бергстрём посмотрел на часы. — Поправка: четыреста.

Алексей ничего не ответил. Он смотрел в стакан, где на дне оставалось немного виски, янтарного, как моча тяжелобольного.

— Я не говорю, что мальчика нужно убить, — продолжил Бергстрём. — Я говорю, что вы не имеете права решать это в одиночку. И я не имею. И никто не имеет. Это решение должно быть принято не знаю. Человечеством? Но человечество не умеет принимать решения. Это амеба, которая движется в сторону наибольшего давления.

— Что вы предлагаете? — спросил Алексей.

— Я предлагаю продолжить исследования. Без публикации, без огласки. Нужно найти альтернативный способ синтеза. Может быть, генная инженерия — встроить нужные гены в искусственную клеточную линию. Может быть, поиск других доноров — не обязательно с таким же профилем, может быть, с частичным совпадением. Мы подключим ресурсы. У нас есть лаборатории в Уппсале, в Лунде. Есть связи с Институтом Броуда в Бостоне. Мы можем работать тихо, не привлекая внимания.

— Сколько времени?

— Не знаю. Год, два, пять. Но это лучше, чем альтернатива.

— Альтернатива — это?

— Альтернатива — это то, о чем вы думаете каждую ночь, — Бергстрём посмотрел на него в упор. — Не притворяйтесь. Я знаю этот взгляд. Я видел его у хирургов, которые потеряли пациента на столе. У военных врачей, которые решали, кому дать морфий, а кому нет. Вы уже убили этого мальчика в своей голове — много раз. И каждый раз он оживал, потому что вы не могли нажать на курок. Но вы знаете, что кто-то нажмет. Не вы — так другой.

Алексей встал. Подошел к бару, плеснул себе еще виски, хотя пить не хотелось. Руки дрожали — он заметил это краем глаза и спрятал их в карманы.

— Я не хочу, чтобы нажимали, — сказал он глухо.

— А чего вы хотите?

Он долго молчал, глядя на бутылки за стеклом. Потом повернулся.

— Я хочу, чтобы мальчик вырос. Поступил в институт. Влюбился. Нарожал детей. Составился. Умер в своей постели в девяносто лет. И чтобы при этом восемь миллионов человек в год не умирали от рака. Я хочу, чтобы оба эти желания сбылись одновременно. Я хочу невозможного.

Бергстрём кивнул.

— Этого мы все хотим, — сказал он. — Но мир так не работает.

Линдквист, который молчал весь разговор, вдруг заговорил:

— Доктор Князев, я хочу задать вам один вопрос. Только один. И я прошу ответить честно.

— Задавайте.

— Если бы мальчик был вашим сыном — вы бы согласились?

Алексей посмотрел на лысого шведа. Вопрос был простой, как выстрел в затылок.

— Нет, — сказал он. — Не согласился бы.

— Тогда почему вы думаете, что имеете право соглашаться на убийство чужого ребенка?

В комнате стало тихо. Алексей услышал, как в висках стучит кровь — медленно, размеренно, как метроном.

— Я не имею, — сказал он наконец. — Не имею.

— Вот именно, — Линдквист откинулся в кресле. — И никто не имеет. Поэтому мы будем искать другой путь.

Они проговорили до двух ночи. Составили план: обмен данными по защищенному каналу, поиск альтернативных доноров через европейские базы, эксперименты с генетически модифицированными клеточными линиями. Бергстрём обещал финансирование через шведский онкологический фонд — у него были связи в попечительском совете. Встреча закончилась рукопожатием.

Алексей вышел из гостиницы в три часа ночи. Дождь кончился, небо очистилось, и над Москвой висели звезды — яркие, холодные, апрельские. Он стоял на тротуаре, запрокинув голову, и смотрел на них.

Он не верил, что альтернативный путь существует. Он перебрал все варианты еще полгода назад, когда лежал без сна и гонял по кругу одни и те же мысли. Генная инженерия — это годы, возможно десятилетия. Другие доноры — иголка в стоге сена, причем сено еще даже не начали искать. Единственный реальный путь вел в детский дом номер семь в Бутово.

Но он согласился на план Бергстрёма. Потому что это давало ему отсрочку. Еще немного времени, когда он мог не решать. Когда решение было отложено — переложено на исследования, на поиски, на авось.

Он поймал такси и поехал домой. В машине пахло освежителем «елочка» и старыми чехлами. Водитель, пожилой кавказец, молчал и крутил руль. Алексей прижался лбом к холодному стеклу и смотрел, как проплывают мимо спящие районы — Черемушки, Коньково, пустые проспекты с редкими огнями.

Он думал о мальчике. О том, как тот сказал: «Приходите еще». О том, как смотрел на него своими серыми глазами, спокойными, как вода в колодце.

Он не пришел. Полгода не приходил. И не придет, наверное.

Дома он не раздеваясь лег на кровать и уснул с открытыми глазами — так бывает, когда тело отключается, а мозг еще гудит, прокручивая события дня. Ему приснился отец. Отец сидел на кухне их старой квартиры в Подольске и курил в форточку, стряхивая пепел в консервную банку.

— Ну что, сынок, — сказал отец, не оборачиваясь, — нашел свое лекарство?

— Нашел, — ответил Алексей во сне.

— А что не радуешься?

— Не получается.

Отец затаился и выпустил дым в форточку. Дым был сизый, густой, он плыл над плитой, как туман.

— Получится, — сказал отец. — У тебя всегда получалось. Ты упрямый.

— Я не упрямый, пап. Я трус.

Отец обернулся. Лицо у него было такое же, как в день смерти — желтое, изможденное, с черными кругами вокруг глаз. Он улыбнулся, и от этой улыбки Алексею стало невыносимо больно.

— Все мы трусы, — сказал отец. — Смелые только те, кому нечего терять. А тебе есть что терять, сынок. Душу свою терять нельзя. Остальное — можно.

И пропал. И Алексей проснулся в пустой квартире, в шесть утра, с мокрым от слез лицом. За окном светало. Где-то в Бутово, в детском доме номер семь, мальчик Денис просыпался в общей спальне и смотрел в такой же рассвет, не зная, что этой ночью в гостиничном номере на Театральном проезде его жизнь и смерть стали предметом научно-практической дискуссии. И что трое взрослых мужчин, ученых, врачей, гуманистов, решили пока оставить его в живых.

## Координаты донора

Май пришел внезапно — в Москве всегда так: вчера еще снег лежал на газонах серыми кучами, а сегодня тополиный пух летит в лицо и температура плюс двадцать пять. Алексей не любил май. Слишком шумный, слишком яркий, слишком много жизни вокруг, когда внутри — выжженная земля.

После отъезда Бергстрёма прошло три недели. Шведы прислали защищенный канал связи, пароли, протоколы обмена данными. Алексей передал им часть результатов — не все, только то, что касалось механизма действия сыворотки. Данные о доноре он оставил при себе. Бергстрём не настаивал — пока не настаивал. Они договорились, что каждый работает в своем направлении: шведы ищут альтернативные источники клеток, Алексей продолжает эксперименты на мышах, пытаясь снизить зависимость от исходного материала.

Ничего не получалось. Сыворотка требовала именно тех клеток. Любая замена приводила либо к отсутствию эффекта, либо к мутациям на третьем месяце. Мыши умирали. Он хоронил их в институтском крематории, заполнял протоколы, писал в отчетах «отрицательный результат». Отрицательный результат — это тоже результат, говорили им в аспирантуре. Научная мантра, которая помогала не сойти с ума от бессмысленности повторяющихся неудач.

Женька заходила к нему все реже. Она что-то чуяла — не самую тайну, но ее запах, как собака чует рак у хозяина. Держалась на расстоянии, говорила только по делу. Один раз спросила: «Алексей Семеныч, у вас все хорошо? Может, вам в отпуск?» Он ответил: «Все нормально, Жень, работай». Она кивнула и вышла, и он увидел в ее глазах то, чего не видел раньше — страх. Не за себя. За него.

В середине мая позвонил Андрей. Позвонил не как обычно — вечером, с предложением выпить пива. Позвонил в девять утра, в рабочий день. Голос у него был странный.

— Леша, ты можешь приехать? Прямо сейчас.

— Что случилось?

— Не по телефону. Приезжай в больницу. Срочно.

Алексей бросил все и поехал. Пока метро везло его через пол-Москвы, он перебирал варианты — один страшнее другого. С мальчиком что-то случилось? Авария? Болезнь? Или — самое страшное — кто-то еще узнал? Кто-то вычислил? Кто-то уже

Андрей ждал его в ординаторской. Кроме него, в комнате никого не было. Он сидел за столом, перед ним лежала тонкая папка — такая, в каких носят результаты анализов. Лицо у него было серое.

— Закрой дверь.

Алексей закрыл. Сел напротив. Сердце колотилось так, что, наверное, было слышно через стол.

— Я сопоставил кое-что, — сказал Андрей тихо. — Ты извини, я не специально. Просто зашел в базу, посмотрел твои старые запросы. Они не были удалены, Леша. Они до сих пор висят в системе.

— Какие запросы?

— По HLA-типированию. Ты искал донора с определенным профилем. Я помню тот день — ты прислал мне параметры, просил проверить по нашей базе. Я проверил. Нашел мальчика. И потом ты попросил меня больше никогда об этом не говорить.

— Я помню.

— Я и не говорил. Но я не идиот, Леша. Я видел твои глаза, когда ты смотрел на его анализы. А потом ты попросил встречу с мальчиком. И после этой встречи ты исчез на полгода. Я думал — ну, мало ли. Ученые вообще странные люди. Может, у тебя проект не пошел. Может, что-то личное.

— Андрей

— Подожди. — Андрей поднял руку. — Дай я закончу. Вчера я разговаривал с коллегой из онкоцентра на Каширке. Он рассказывал про новость — шведская лаборатория Бергстрёма ищет доноров с редкими HLA-профилями. Якобы для проекта по иммунотерапии. И я вспомнил. Сложил твои запросы, твои глаза, твой интерес к мальчику, и этих шведов. И получилось — он замолчал.

— Что получилось?

— Получилось, что ты что-то нашел, Леша. Что-то большое. Что-то, связанное с мальчиком. И с раком. И ты молчишь. Полгода молчишь.

В ординаторской было душно — окно не открывалось, кондиционер не работал. Алексей чувствовал, как пот течет по спине, липкий, холодный.

— Ты прав, — сказал он. — Я нашел.

Андрей откинулся на спинку стула. Долго смотрел на Алексея — не с осуждением, а с чем-то похожим на жалость.

— Расскажи.

И Алексей рассказал. Все. Про сыворотку, про мышей, про мутации на третий месяц. Про Бергстрёма и его предложение искать альтернативу. Про статью, которую он написал и не отправил. Про гипофиз. Про то, что мальчик — единственный ключ.

Андрей слушал молча, ни разу не перебив. Когда Алексей закончил, он встал, подошел к окну и долго смотрел на больничный двор, где санитары выгружали из машины каталку с больным.

— Сколько? — спросил он не оборачиваясь.

— Что «сколько»?

— Сколько людей умрет, если ты не сделаешь это?

— Восемь миллионов в год.

— Господи.

— Я считал, — сказал Алексей. — Я много раз считал. Если взять десять лет — восемьдесят миллионов. Двадцать лет — сто шестьдесят. Это население целой страны. Это больше, чем погибло во Второй мировой.

Андрей повернулся. Лицо у него было такое же серое, как стены ординаторской.

— И ты молчал. Полгода.

— А что я должен был сделать? Убить ребенка?

— Я не знаю, Леша. Я хирург. Я каждый день вижу, как умирают люди. Я резал семилетних детей с саркомой и знал, что они не выживут. Я говорил родителям: «Мы сделали все, что могли», — и видел, как у них рушится мир. Если бы у меня было лекарство — он замолчал.

— Что?

— Я не знаю. Не знаю, что бы я сделал. Наверное, тоже молчал бы. Или нет.

Они помолчали. В коридоре кто-то кричал — пациент или родственник, не разобрать. Крик оборвался, хлопнула дверь.

— Ты понимаешь, что это не останется тайной? — сказал Андрей. — Шведы знают. Теперь я знаю. Завтра узнает кто-то еще. Информация просачивается, как вода через плотину. Сначала маленькая трещина, потом — прорыв. Ты не сможешь контролировать это вечно.

— Я знаю.

— И что ты будешь делать, когда трещина станет прорывом?

Алексей смотрел на свои руки. Руки вирусолога — с вьевшимися пятнами от реактивов, с обломанными ногтями. Руки, которые держали пробирку с лекарством от рака и не знали, что с ней делать.

— Я надеялся, что шведы найдут альтернативу.

— А если не найдут?

— Тогда — он не закончил.

Андрей сел обратно за стол. Открыл папку, которая лежала перед ним. Внутри была тонкая стопка бумаг — медицинская карта, результаты анализов, пара фотографий.

— Я тебе вот что скажу, — произнес он медленно. — Я знаю этого мальчика. Я оперировал его. Я видел, как он боялся наркоза, как он плакал, когда думал, что никто не видит. Как он спрашивал, когда можно будет бегать. Я не смогу — он запнулся. — Я не смогу причинить ему вред. Это моя работа — лечить, а не убивать. Но если кто-то другой если это случится без меня я не буду препятствовать.

— Ты говоришь как человек, который уже все решил.

— Нет. Я говорю как человек, который не знает, что правильно. Я знаю только, что восемь миллионов в год — это тоже дети. Это тоже чьи-то сыновья и дочери. Я не могу выбрать между ними. Я не Бог.

— А я могу?

— Ты уже выбрал, Леша. Ты выбрал, когда решил не публиковать статью. Ты выбрал, когда не поехал в детский дом и не — он осекся.

— Не убил его сам? Договаривай.

— Извини.

— Не извиняйся. Это правда. Я не смог.

Андрей закрыл папку и подвинул ее через стол.

— Это копия карты Дениса. Там адрес детского дома, результаты последних анализов, заключение психиатра — он проходил осмотр после аварии. Я сделал копию на всякий случай. Может, пригодится.

Алексей взял папку. Она была легкая — почти ничего не весила. Лист бумаги, несколько граммов. Но в руке она лежала как кирпич.

— Зачем ты мне это даешь?

— Потому что ты должен знать о нем все. Если ты собираешься решать его судьбу — ты должен видеть его не как абстрактного донора, а как человека. Чтобы твой выбор был честным. Каким бы он ни был.

Алексей открыл папку. Сверху лежала фотография — та же, что он видел в личном деле, но более новая. Денис стоял на фоне больничной койки, в пижаме не по размеру, и держал в руках плюшевого медведя. Тот самый Гоша, с оторванным ухом, пришитым синими нитками. Мальчик не улыбался, но и не хмурился — просто смотрел в камеру, как смотрят дети, которые давно поняли, что мир к ним не особенно добр.

Он пролистнул дальше. Результаты анализов — все в норме, стандартный семилетний ребенок, небольшой недобор веса, но в пределах допустимого. Заключение психиатра: «Эмоционально стабилен, несколько замкнут, контакту доступен. Привязанность к опекунам не сформирована, что характерно для детей, находящихся в учреждениях интернатного типа с раннего возраста. Компенсаторная привязанность к игрушке — медведь по имени Гоша». Медведь по имени Гоша. У него был медведь, у медведя было имя. И синие нитки вместо уха.

Алексей закрыл папку.

— Я не буду решать его судьбу, — сказал он. — Я уже решил. Я не трону его.

— А если другие решат иначе?

— Тогда я попытаюсь их остановить.

— Ты уверен, что сможешь?

Вопрос повис в воздухе. Алексей не ответил, потому что честного ответа у него не было.

Он вышел из больницы в три часа дня. Солнце било в глаза, он щурился и моргал, как человек, который слишком долго просидел в темноте. Он держал папку под мышкой и не знал, куда идти. В лабораторию не хотелось. Домой — тем более. Он пошел пешком, без цели, просто чтобы двигаться.

Москва жила своей жизнью. Люди спешили по тротуарам, пили кофе из бумажных стаканов, разговаривали по телефонам, смеялись. Мир не знал, что в папке под мышкой у небритого человека в мятом пиджаке лежит судьба восьми миллионов человек в год. И одного семилетнего мальчика.

Он дошел до Павелецкого вокзала, сел на скамейку в сквере. Голуби ходили по асфальту, выпрашивая крошки. Рядом сидел бомж с бутылкой пива и разговаривал сам с собой — что-то про жену, которая ушла, и про сына, который не звонит. Алексей слушал его вполуха и думал о том, как странно устроена жизнь: один человек теряет сына по глупости, другой думает убить сына чужого, а результат один — боль, которая никуда не уходит.

Он достал телефон и набрал номер Бергстрёма. Длинные гудки, потом щелчок.

— Доктор Князев? — голос у шведа был бодрый, несмотря на разницу во времени. В Стокгольме было около полудня.

— Эрик, у меня вопрос. Как продвигаются поиски альтернативы?

Пауза. Слишком длинная для хороших новостей.

— Честно?

— Честно.

— Плохо. Мы проверили европейскую базу — шестьсот тысяч образцов. Ни одного совпадения даже по трем локусам из шести. Американцы дали доступ к своему регистру — еще девятьсот тысяч. Тоже ноль. Я говорил с коллегами из Шанхая — они готовы проверить свою базу, но вы же понимаете, китайцы неохотно делятся данными. Это может занять месяцы.

— Что по генной инженерии?

— Мышиная модель нестабильна. Мы встроили нужный ген в линию НЕК-293, но клетки теряют плюрипотентность через три пассажа. Это тупик, Алексей. Может быть, не навсегда, но на ближайшие годы — точно.

Алексей молчал. Бомж на соседней скамейке допил пиво и швырнул бутылку в урну — мимо. Бутылка разбилась об асфальт с звонким хрустом.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Бергстрём. — Вы думаете, что альтернативы нет. Что единственный способ — использовать донора.

— А вы так не думаете?

— Я думаю, что мы еще не все проверили. Но да, шансы тают.

— Что вы предлагаете?

— Я предлагаю встретиться. Втроем — вы, я, Линдквист. Не по телефону. Есть вещи, которые нельзя обсуждать по телефону.

— Когда?

— Я могу прилететь через неделю. Устроит?

— Устроит.

Он отключился. Бомж на соседней скамейке запел что-то неразборчивое — то ли «Владимирский централ», то ли церковный гимн, не разобрать. Алексей сидел и смотрел на осколки бутылки, которые блестели на солнце, как маленькие бриллианты.

Через неделю они встретились снова. На этот раз Бергстрём прилетел один, без ассистентки и без чиновника. Они встретились не в гостинице, а в маленьком кафе на Чистых прудах, где подавали плохой кофе и хорошие круассаны. Сели за столик в углу, подальше от окон.

Бергстрём выглядел уставшим. Мешки под глазами, седая щетина — видимо, тоже перестал бриться. Он заказал двойной эспрессо и выпил залпом, не поморщившись.

— Я говорил с Линдквистом, — сказал он без предисловий. — Он в ярости. Говорит, мы не имеем права даже обсуждать это.

— А вы?

— А я считаю, что не имеем права не обсуждать.

Официантка принесла кофе. Бергстрём подождал, пока она отойдет, и продолжил:

— Я перебрал все варианты, Алексей. Все, включая те, за которые меня бы выгнали из Королевской академии наук. Клонирование ткани гипофиза *in vitro* — технология не отработана, нужны годы. Ксенотрансплантация — выращивание человеческих клеток в животных — этический кошмар, и все равно не работает. Поиск других доноров — мы проверили почти два миллиона образцов, и это капля в море. Чтобы найти второго такого же, нужно типировать всю планету. Это десятилетия и миллиарды долларов.

— Значит, альтернативы нет.

— Значит, альтернативы нет, — повторил Бергстрём как приговор. — Есть только мальчик.

Они помолчали. В кафе играла тихая музыка — что-то из восьмидесятых, Алексей не узнавал мелодию. За соседним столиком пара студентов целовалась, не обращая внимания на окружающих.

— Я не буду этого делать, — сказал Алексей.

— Я знаю.

— И вы не будете?

— Я — Бергстрём запнулся. — Я не знаю. Я думал, что смогу. В Уппсале, в тиши кабинета, все кажется простым. Утилитарная этика: один против восьми миллионов. Любой калькулятор скажет — жертвой одним. Но когда я представляю этого мальчика я не могу. Не могу.

— Значит, мы оба ничего не сделаем.

— Да. И восемь миллионов в год будут умирать.

Кофе остыл. Алексей пил его холодным, не чувствуя вкуса.

— Эрик, — сказал он медленно, — вы сказали, что Линдквист в ярости. А что именно он сказал?

— Сказал, что это убийство. Что никакая цель не оправдывает убийство ребенка. Что мы, врачи, должны лечить, а не решать, кому жить. Он идеалист, в хорошем смысле слова. Но он не видел этих цифр — каждый день, как мы. Он не просыпается в три ночи от мысли, что пока он спит, умирают люди, которых можно было бы спасти.

— А кто видел? Кто еще видел эти цифры?

Бергстрём внимательно посмотрел на него.

— К чему вы клоните, Алексей?

— К тому, что мы с вами — не единственные, кто знает. Есть еще люди. Ваши спонсоры, например. Вы сказали — шведский онкологический фонд. Кто в попечительском совете?

— Там разные люди. Врачи, бизнесмены, бывшие политики. Я не говорил им деталей. Только общие слова — что ведутся перспективные исследования.

— Но они могут узнать.

— Могут. Если захотят.

— А если узнают — что они сделают?

Бергстрём отставил чашку. Долго смотрел в окно, где по Чистопрудному бульвару катили велосипедисты и мамы с колясками.

— Они сделают то, что всегда делают люди, когда узнают, что можно спасти миллионы ценой одной жизни. Они найдут того, кто согласится. Не мы с вами. Кто-то другой. Кто-то, у кого меньше моральных ограничений.

— Значит, это случится в любом случае. Рано или поздно.

— Похоже на то.

Алексей вдруг понял, что чувствует облегчение. Странное, противоестественное облегчение — как будто он сбросил с плеч груз, который нес слишком долго. Решение ускользало из его рук. Он больше не мог его контролировать. И это было почти приятно — перестать быть ответственным.

— Тогда я хочу кое-что попросить, — сказал он.

— Что именно?

— Когда это случится если это случится пусть ему не будет больно. Пусть он не узнает.  
Пусть все будет тихо и быстро.

Бергстрём долго смотрел на него. Потом кивнул.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.